

К. Д. БАЛЬМОНТ

С Константином Дмитриевичем Бальмонтом мне привелось познакомиться в начале 1925 года.

Он жил тогда с женой и с дочерью Миррой в скромном отеле около площади Данфер-Рошери; в этом же отеле жил один из тогдашних молодых поэтов. Бальмонт почти каждый день спускался к нему и порой по несколько часов к ряду просиживал среди молодежи. Его обычное место было на кровати хозяина. Вокруг стола (чай, бесконечный русский чай, от которого тогда еще не отвыкли!) помещались хозяева — поэт с женой и приходившие почитать стихи и поговорить «представители молодой литературы». Мирра, дочь Бальмонта, писала стихи и была членом Союза Молодых Поэтов, собиравшегося неподалеку.

В первый раз, когда я увидел Бальмонта, он сидел, опираясь на подушки, откинувшись назад в позе величественной и вдохновенной. Густая, золотистая грива волос (Бальмонт красил их), высокий и широкий лоб, испанская бородка, глаза — совсем молодые и живые. Мне запомнились кисти его рук с широкими «лопаточкообразными» окончаниями пальцев — «творческая рука», как определяет хиромантия. В бедной, беженской комнате, в темном, поношенном костюме, автор «Горящих Зданий» и «Будем, как солнце» напоминал бодлеровского альбатроса. Какая слава в прошлом, сколько написано книг, где только не бывал поэт — в Мексике, в Египте, в Океании, а теперь он, вместе с другими, в беженском

положении, среди чужого, безразличного к русским страданиям Парижа.

Я смотрел на человека и думал о поэте. «Русский Верлэн», как потом его стали называть в Париже, сравнивая его бедственное положение и роковое пристрастие к вину с тяжелой судьбой французского поэта, еще в России пережил свою славу, поэзия его уже тогда перестала быть новым словом.

Блок, Сологуб, Ахматова, Гумилев, О. Мандельштам, Б. Пастернак — были любимыми поэтами большинства присутствующих на этих собраниях. Молодежь, с почтением, но готовая заранее отстаивать своих «богов», слушала Бальмонта и для нее он был уже далеким прошлым. Бальмонт, с своей стороны, присматривался к молодежи и, зная ее настроение, быть может, ждал сначала какой-нибудь резкой выходки, но тон «парижской атмосферы» не походил на тон некоторых литературных кружков в России, и Бальмонт вскоре почувствовал себя в окружении мирном и благожелательном.

Он не был, по своей натуре, «мэтром», способным заниматься с молодежью, как Вячеслав Иванов, Гумилев или Вл. Ходасевич. Говоря о поэзии, он совсем не касался формальной ее стороны, слушая стихи молодых, оценивал их с точки зрения «присутствия в них поэзии» — и надо признаться, чувствовал он это присутствие поэзии очень верно.

Бальмонт любил рассказывать о своем прошлом, о прежней Москве, о поэтах эпохи декаденства и символизма, о путешествиях, порой — о былых похождениях. Иногда, по просьбе присутствующих, он читал новые стихи. У него всегда были новые стихи, Бальмонт писал много, пожалуй, слишком много. Читал он очень своеобразно, растягивал некоторые слова, четко выделяя цезуры посреди строк, подчеркивая «напевность». Стихи у него были переписаны в маленькую тетрадку, четким и красивым почерком, — он всегда носил ее при себе, —

молодые же поэты в ту пору стихов при себе уже не носили.

Поэзия, действительно, была жизнью для Бальмонта, он всё время думал о стихах. Он так привык мыслить стихами, что на всякое переживание отзывался ими, стихия стихотворной речи всегда была с ним. Не знаю, много ли работал Бальмонт над отделкой стихов или «писал сразу», как хотел представить другим, но возможно, что он мало переделывал и перерабатывал написанное, особенно в последние годы жизни.

В своем стиле Бальмонт давно достиг мастерства: ему, видимо, вправду легко было писать, — слова, образы, фонетические особенности притекали к нему широким потоком. Однако, в эпоху своего расцвета, я думаю, Бальмонт не мог писать так, — сама собой возникала «кощунственная мысль» при словах Бальмонта о том, что «настоящие стихи приходят вдруг, не требуя, ни поправок, ни изменений».

В течение своей долгой жизни Бальмонт написал множество стихов, так что, говоря о его творчестве, представляешь себе какое-то огромное собирательное, полное звуков, порой слишком звучных, красноречие, словесный поток, много позы, порой — отсутствие подлинности, строгости, чуткости, даже вкуса. Суд наших современников над поэзией Бальмонта очень строг, но я думаю, что со временем кто-либо сможет открыть настоящего Бальмонта.

Если тщательно пересмотреть его литературное наследство, если отбросить множество никчемных стихов, останутся две-три книги настоящих и подлинных стихов крупного поэта.

То же и о переводах: его переводы, например, Эдгара По, по справедливости можно поставить рядом со знаменитым переводом Бодлэра.

Молодежь пригласила Бальмонта выступить на вечерах Союза Молодых Поэтов, — Бальмонт несколько

раз читал свои стихи и принял участие в вечере, посвященном Боратынскому. Он сказал о нем речь, кажется, она называлась «Высокий Рыцарь» или что-то в этом роде, по-бальмонтовски. Цитируя Боратынского, по памяти, в двух местах, Бальмонт ошибся и тотчас же, с места, присутствующий на собрании пушкинист М. Л. Гофман его поправил. Первую поправку Бальмонт принял, но вторая его рассердила:

— Вы всё время поправляете меня, — обратился он к Гофману, — но я, ведь, специалист по Бальмонту, а не по Боратынскому!

Наше поколение поэтов — суше и строже; наша манера читать стихи была в резком контрасте с чтением Бальмонта. Но его манера читать влияла на публику. Думаю, помимо престижа имени, здесь было еще и другое: Бальмонт священнодействовал, всерьез совершал служение Поэзии, и его искренний подъем передавался присутствующим. За свою долгую жизнь Бальмонт привык влиять на аудиторию и умел увлекать ее.

В те годы, о которых я пишу, поэт был еще «en forme», как говорят французы. Болезнь, нервность и одиночество пришли к нему потом — и в этом, до известной степени, сыграло роль безразличие эмигрантской среды к поэзии. Предки Бальмонта (если не ошибаюсь, по женской линии) были подвержены из поколения в поколение душевным болезням. Невнимание к нему и к его поэзии усиливало страдание.

В чужом и скудном для него мире, после всеобщего крушения и распада той атмосферы, к которой он привык в России, после наступившей переоценки ценностей, то, чем жил Бальмонт — звуки, формы, метафоры, «красота», буйственная оргиастическая страсть, «взлеты» и «прозрения» — стали представляться слишком внешними, неискренними, — «литературой».

Бальмонт замкнулся в себе, Бальмонт не мог и не

хотел измениться — и это, практически, означало для него полную изоляцию.

В двадцатых годах, вероятно, одиночество и некоторое любопытство влекло его к молодежи. Но вскоре и тут Бальмонт почувствовал себя лишним и отдалился.

Мне запомнился рассказ Бальмонта, как он начал писать стихи.

Озарение и ощущение себя поэтом пришло к нему вдруг, от переживания пейзажа: «Мне было тогда 16 лет, я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».

Бальмонт уехал в провинцию, изредка печатал стихи в «Современных Записках» и в «Последних Новостях», потом вернулся в Париж, серьезно заболел и снова жил потом в провинции. Во время оккупации он поселился в Нуази-ле-Гран, в русском общежитии, устроенном матерью Марией. Немцы относились к Бальмонту безразлично, русские же гитлеровцы попрекали его за прежние революционные убеждения.

Больной поэт всё время находился, как передавали, в очень угнетенном состоянии. О смерти Бальмонта в Париже узнали из статьи, помещенной в тогдашнем органе Жеребкова «Парижский Вестник». Сделав, как тогда полагалось, основательный выговор покойному поэту за то, что в свое время он «поддерживал революционеров», жеребковский журналист описал грустную картину похорон: не было почти никого, так как в Париже лишь очень немногие знали о смерти Бальмонта. Шел дождь и когда опустили гроб в яму, наполненную водой, гроб всплыл и его пришлось придерживать шестом, пока засыпали землей могилу.

К. Д. Бальмонт скончался 26 декабря 1942 года.